



А. Малашенко

Поле перейти

Аркадий Малашенко

Поле перейти...

Стихи

Издательство «Картя молдовеняскэ», 1974

P2

M18

©Издательство «Картя молдовеняскэ», 1974

0742 — 178

M751(12) - 74 57 – 74

ПОЛЕ

Жизнь прожить — не поле перейти...

Боже мой, какая ерунда!

Это поле, что травой кипит,

Не забыть комбату никогда.

Там все так же млеет дряхлый клен,

Там все так же иволга свистит...

Двести жизней отдал батальон,

Чтобы это поле перейти.

* * *

Мать тридцать лет уже пытается
Отгадывать больные сны...

А мой отец все возвращается,
Все возвращается с войны.

Ночами плачет и ругается.

Его ругательства страшны.

Все возвращается,

Все возвращается!

Все возвращается с войны.

Откуда знать ему, что бури

Еще свистят! Еще свистят!

Откуда знать ему, что пули

В него летят еще, летят!

Ему навеки не расстаться

С родством кровавым той земли,

Где кореша в могиле братской

Стозвонной рощей проросли,

Где до сих пор закат багряный

Травой сожженной горчит,

Где каждый метр земли, как рана,

Перед ненастием болит.

Он ест и спит. И по-солдатски

Покорно слушает врачей...

А сам лежит в могиле братской

Среди товарищей-друзей.

И мать уже не убивается:

Давно шепнула ей беда,

Что с той войны не возвращается

Никто. Нигде. И никогда.

У ОБЕЛИСКА

Памяти московских курсантов, павших в
ноябре 1941-го

Сюда доносятся куранты
И падают у обелиска,
Где под курганом спят курсанты
С московской вечною пропиской.

Им никогда не догадаться,
Какую славу заслужили...
Хоть было им по восемнадцать,
Но жизнь
огромную
прожили!

ОТЕЦ

Не пьет отец.

Врачи не позволяют.

Седьмой десяток, что ни говори.

Но в День Танкиста мать молчит, робея,

Когда отец бутылками гремит.

За стол садятся три солдата дружно —

Все, что осталось от лихой бригады...

Четвертого недавно отнесли...

Шли старики почетно перед гробом,

При орденах, достойно (знай, мол, наших)

На бархате — четвертого награды.

Так уважительно, так бережно несли!

Остались трое у могилы друга,

Из горлышка распили поллитровку,

Остатки вылили на свежий холм земли.

— Спи, Саня. Чай, не долго нам осталось.

Ты полежи пока тут. Мы пошли.

И шли они, стремясь невольно в ногу,

И в такт шагам звенели их награды.

А вот сегодня выпили — их праздник,

Сначала очень чинно — командиры,

А через час, когда пошли по пятой,

Совсем разбушевались старики.

Кричали песни новые и старые,

До хрипоты самозабвенно пели,
И батя к каждому веселому куплету
Совсем некстати рявкал: ча-ча-ча!
— Вот так и мы за Санькой... — буркнул кто-то.
И рухнула на плечи тишина,
Забронзовели лица у солдат,
Окаменели губы и ресницы.
И лишь отец, внеся пирог из кухни,
Нелепо выкрикнул с порога: ча-ча-ча!
А дядя Федя скрежетнул зубами:
— Эх, дали б мне мою «тридцатьчетверку»
Да на врага, да еще раз в атаку...
Уж я б сумел, как надо умереть.
Ведь не живем, бойцы, а доживаем.
В кино про нас да в фельетонах пишут...
— Оставь,— отец сказал. — Не надо.
Пусть пишут, грамотные все ж...
Не то, что мы,— мое образование —
Твое и Васькино — едино, три войны.
По-своему узнали географию:
То драпали, то в наступленье шли.
Не смог развеселить и телевизор,
Чаяк попили. И засобирались.
На кухне напоследок закурили,
И в ночь ушли, медалями звеня.

На что они, солдаты, обижались! —
Не знали сами! Может быть, на годы,
На раны, что становятся смертельными,
На пули, что когда-то миновали

И через тридцать лет находят их.
На молодость, что изменила им?
На что они, солдаты, обижались?

А батя вышел в ночь.
Я знал, куда он.
Там танк его застыл на пьедестале.
На площади. Среди гранитных плит.
А тучи мчались черные и злые,
Клубилась тьма, во тьме ворчали громы,—
Что в громах этих чудилось отцу?
Глазами выцветшими
Он смотрел на танк,
И губы что-то ласково шептали.
И если б мы прислушались —
Услышали,
Как тихо танку говорит отец:
— А знаешь, если будет слишком трудно,
То, может быть, и мы еще сгодимся...

А ветер злей.
А тучи все чернее.
А раны все больней, когда гроза...

МАМИНО ТАНГО

Ах, как скрипки его осторожно вели
Танго,
Но ворвались в него и втоптали в траву
Танки.
И упали ничком, захлебнувшись свинцом,
Кавалеры —
Два Никиты, комвзводы, лихие бойцы
Кавалерии.

А пластинка крутилась быстрее земли
Вдвое,
Отомстив за комвзводов, под танки легли
Взводы.
И кричал в медсанбате, порвав на груди
Марлю,
Тот, что вел тебя — шаг, а потом — два вперед,
Мама.
Но другие за них в рукопашном бою,
В атаке
Отместили за павших и за твое
Танго!
Так не надо,
Не плачь же, что молодость
Пролетела,
Что пластинку твою в сорок первом году
Зае... зае... зае... зае... зае...

* * *

В этом крымском ущелье,
С ручьем, где томятся форели,
Я наткнулся на скалу,
На которой кто-то высек: «люблю».
Не знаю почему, я остановился.
Здесь было так же, как и везде:
Так же падало с гор небо,
Так же неправдоподобно яркие были краски,
Так же пронзительно пахло Крымом
От скал, деревьев, и от фотографа,
Который завлекал туристов под водопад.
И все таки я внезапно понял, что избавился от
тревоги,
Вползшей в меня со страниц газет.
Все будет хорошо,— подумал я,
Увидев слово «люблю» на скале.
Потому что никакая бомба на свете
Не сможет превратить это слово
В пепел.

ЕСЛИ...

На пороге третьего тысячелетия

Ветры.

На пороге третьего тысячелетия

Вести.

На пороге третьего тысячелетия

Весны.

Если

Вести

На пороге третьего тысячелетия

Добрые,

Если

Ветры

На пороге третьего тысячелетия

Теплые,

Если

Весны

На пороге третьего тысячелетия

Светлые —

Значит, мы, товарищ, достойно прожили

Две тысячи лет!

БЕЛЫЙ ВЕТЕР

Белый ветер...

Опять он пришел, белый ветер!

В нем слышались шорохи очень

Усталых полозьев.

И холодная песня,

Как будто бы неземная.

Ее женщина пела,

Конечно же, в белом костюме

И с глазами, как луны,

В которых мечта поселилась.

А мечта, лишь поддайся,—

Уведет в холода голубые.

Белый ветер...

Нет, я не забыл этих белых распятий -

Белых вешек по зимнику

На безжалостно белом снегу.

О, как пристально друг мой

Глядит в это белое небо,

И снежинки не тают

Двое суток

На зрачках у него.

Белый ветер...

Оставь ты меня!

Не стучи ты в свои барабаны!

Разве робко я жил,

Разве прятался в теплой норе?

Посмотри на мои волосы —
В них навеки пурга заплуталась,
Положи руку на сердце —
Оно — как перегретый мотор.
Ну, зачем,
Ну, зачем ты пришел, белый ветер?
Это значит — не спать,
Это снова метаться ночами...
Ты прости, дорогая, за любовь,
Что томится в тяжелом предчувствии дороги,
За тоску и за боль. За холодный нетопленный дом,—
За все сразу прости.
Но ты слышишь!...
Опять он пришел, белый ветер...

НАЕДИНЕ С ТУНДРОЙ

Полдюжины камней,
Шест сломанный каюра
Так связан, чтобы вышел крест —
И вот вам безымянная могила...
А крест — он проще,
Где искать звезду,
Не брать же каждый раз с собой в дорогу,

Чукотка ненасытная все сеет
По снегу горсти этих вот могил.
Не видно с самолета их,
а в тундре.

Особенно вдоль трасс, их очень много —
Почти как придорожные столбы.
К ним сердце примелькалось.
Над могилами
Набрякли сопки, будто монументы,
Неистойвой громадностью своею
Убогость безымянных подчеркнув.
Ах, словеса!.
Лежат первопроходцы.
Споткнулись о полярный круг герои.
Что в памяти людской о них осталось?
Медали разве —
камни на груди.

Оставить след!
Оставили... могилы!

Угомонились буйные головушки.
Давай, каюр, по маленькой, пожалуй.
За упокой их горемычных душ.
Уж мы с тобой дойдем до дома точно.
Полсотни верст, а там река Пинакуль
И старый Тыны нам с тобой заварит
Неимоверно черный, горький чай.
Давай, каюр, по маленькой, хотя бы
За то, что там лежим не мы с тобой.
К чему кривить душой?

Ведь мы же люди

И это очень здорово, что скоро
Река Пинакуль и Тыны, и чай.

...Ну что ж, каюр, собачки отдохнули,
Нам в путь пора. Давай гасить костер.
Рули корабль собачий свой к поселку,
К реке Пинакуль, к хроменькой избушке,
Тыны навстречу выйдет, скажет: «Этти»,
И сразу спросит: «Водку не забыл?»
Я успокою тотчас зверолова,
Пройду к огню.
Сниму, хрипя, кухлянку
И рухну тут же на оленье шкуры,
Подкошенный усталостью, усну.
И только мысль одна восстать захочет:
О тех могилах стылых, безымянных,
Но тут же хватает ее за глотку
Другая мысль:
«Я все-таки дошел!...»

Вперед, собачки, на реку Пинакуль!

БАЛЛАДА О ДЛИННОМ РУБЛЕ

Вопреки положениям бескомпромиссным

И иным строгим мнениям наперекор

(Пусть простят педагоги и фельетонисты)

Я о длинном рубле поведу разговор:

Как проклятие, рубль то название носит.

И хотелось бы знать —

до какой же поры!

Ведь названье придумали те, кто и носа

Не высовывали

из персональной норы.

Этот рубль из беды и опасности соткан:

Пурги, холод и лед на обмерзших губах...

Вот их ведомость, глянь:

Рядом с подписью — сотни

Новых приисков, домен, поселков и шахт.

Так какая ж цена этой черной работе!

Рубль рублю все же рознь.

Это знаю я сам.

Ну, а те, что добыты и кровью и потом,

Я готов хоть сейчас приравнять к орденам!

Этот рубль не для тех, кто плетется вполсилы,

А для тех, кто всегда впереди, за рулем.

И горжусь я, что труд мой страна оплатила

Этим самым — вы слышите! —

Длинным рублем!

И, рискуя прослыть уж совсем нехорошим,
(Был бы повод — ярлык подходящий найдем)

Призываю —

наплюйте на мелкие гроши.

Поезжайте, ребята,

За длинным рублем!

ПО ДОРОГЕ В ПЕВЕК

А. Мифтахутдинову

Бегут собачки прямо на Певек,
Бегут, цепляя мордами сугробы.
Каюр сидит, как памятник суровый.
Весь день молчит, упрямый человек.

Собачек душит лютая тоска.
Они косятся на следы песцовьи,
На куронок да на сов гнездовья...
Эх, закатиться бы, напиться крови,
Да правит ими твердая рука.

Вожак скулит, пугается костров.
Его тревожат призрачные тени
Полярных волков, бешеных оленей
И прошлогодних свадебных медведей,
И глупых безнадежно пестунов.

Поговорить бы. Сколько мы молчим!
Пытаюсь, но каюр не отвечает,
Как будто бы такую тайну знает,
Что слово скажет — пламя запыхает,
И мы, как самолеты, полетим.

Бегут собачки прямо на Певек.
Молчит каюр, упрямый человек.

* * *

Сиреники, Урелики, Певек,
Яропол, Ванкарем, Ламутск, Усть-Чаун...

Не имена, а крики белых чаек.

Как будто бы их выдумал случайно

Весенний ветер, а не человек.

Сиреники, Урелики, Певек,
Яропол, Ванкарем, Ламутск, Усть-Чаун

Меня в любую пору привечали,

На частые визиты не ворчали,

Тепло давали, стопку и ночлег.

Так почему ж Урелики, Певек,
Яропол, Ванкарем, Ламутск, Усть-Чаун, —

Не имена, а крики белых чаек,—

Рифмую я с холодным словом «снег»? ...

НАБРОСКИ В АЭРОПОРТУ «КРЕСТЫ»

Как в ил, зарылись «ИЛЫ» в снег,
А это что-нибудь да значит...
Не улетит и не ускачет
Ни бог, ни черт, ни человек.

«Кресты»... Да нет на вас креста!
Седьмые сутки среди ночи
Выводит вьюга эти строчки.
Волчицей злобствует в кустах.

О чем писать! Что ловит слух!
Не голоса, а отголоски.
Там две слепые эскимоски
Поют вторую ночь в углу.

Вот лейтенант — моряк грызет
Кету соленую с печеньем,
Достойно, сочно, вдохновенно,
Как будто шоколадный торт.

Там два геолога храпят
И не посетуют ни разу.
Для них погодка эта — праздник,
И празднуют ребята — спят.

Отпускники рядом лежат.

Проелись хлопцы и пропились,
Вначале пели и бодрились,
Теперь унылые молчат.

И маята, и теснота,
Не пишется, но и не спится.
И только ходит, как царица,
Дежурная аэропорта.

Хрипит динамик вдалеке,
Глокает новости и прячет.
И всласть, в охотку вьюга плачет
На человеческом языке.

БУХТА СОМНИТЕЛЬНАЯ

Снова бухте Сомнительной пурга замутила глаза,
Снова в бухте Сомнительной юбками вьюга трясет.
Мне о бухте Сомнительной старый ламут сказал,
Что в пургу к ней дорогу только любимый найдет.
А до бухты Сомнительной нет никакого пути,
Сорок верст, понимаешь, а может, и все пятьдесят.
Сорок верст между сопок, между жизнью и смертью

идти,

Сорок верст, понимаешь, а может, и все пятьдесят.
Так скорей же, Нувано, спеши, дорогой мой каюр,
Но молчит эскимос, тяжело думает думу свою.
И в сто глоток ветра первобытную песню поют,
И в обнимку с метелью теряются в белом краю.
Запрягай же, Нувано, скорее двенадцать собак.
Не пойдешь! Сам пойду! Но не будет смеяться

другой.

В этой бухте по пояс в снегу утонула изба,
И до этой избы только сорок тысяч шагов!

Закричали от гнева у эскимоса глаза.
За его за спиной я устроился, как за стеной
Будто змей из распадка упряжка в пургу поползла
За любовью моей, за моею нелепой судьбой.
Двое суток тянулись сорок тысяч этих шагов,
Двое суток каюр по пояс в снегу шагал,

Но в заветной избушке слышался голос другой.

Ты был прав, эскимос. Ты прости, но я опоздал.

Усмехнулся каюр — и как будто обдало шугой.

И сказал эскимос, а слова у него как наждак:

«Нет, не даром прошел ты сорок тысяч

этих шагов -

Ты увидел теперь,

что она

не умеет

ждать

* * *

Когда я замерзал в айонской тундре
И вертолет не мог меня найти.

Когда песцы вокруг меня сидели,
Повизгивая в предвкушеньи пира, —
Тогда меня нашли ее глаза.
Ее любовь согрела и спасла.

Я слышу чей-то голос: боже мой!
Слова какие, будто бы в романсе!
Но что поделать, если было так:
Меня нашли в снегах ее глаза,
Любовь ее согрела и спасла,
Когда я замерзал в айонской тундре
И вертолет не мог меня найти.

РУКИ МАТЕРИ

Позакрыло дороги-пути
Пеленой беспросветною серой.
Эти черные злые дожди
Кулаками стучатся в сердце.

Будто что-то со мной случилось,
Будто враз одиноким стал,
Будто я от себя отлучился
И в дождях сам себя потерял.

Смотрит вечер в глаза все пристальней,
И нелепый вопрос встает:
На каких заполярных пристанях
Опоздал я на свой пароход.

На котором из бухты сонной,
По Гольфстриму тихо скользя,
К счастью тихому, к славе, к солнцу
Все уплыли мои друзья.

В небе молнии, как судороги.
Гром все громче, гром все больней,
И становятся эти сумерки
С каждым часом все злей и злей.

И как путник бежит к нечаянным
Огонькам, что горят вдалеке,

Я в минуту эту отчаянную
К материнской прильну руке.

И отступят тревоги серые,
И светлей небосклон впереди,
И уходят в осень из сердца
Дожди.

* * *

С каждым днем тяжелей идти,
С каждым разом длинней привал.

Видно, мне тебя не найти,
Видно, сам я себя потерял.
Потерял в золотых снегах,
Потерял в холостых словах,
Потерял в позабытых снах,
В перемерзших твоих глазах.

Тяжела моих дум сума,
Горек стал пилигримский хлеб.
Разлетелась моя судьба
По раскосой твоей земле.
По старинным твоим церквам.
По собольим твоим бровям,
По горячим твоим слезам,
По казенным полям телеграмм.

Но испробуй силу любви,
Испытай ее, и, клянусь —
Хоть вполголоса позови —
Ты увидишь, как я найдусь!
Я найдусь в золотых снегах,
Я найдусь в холостых словах,
Я найдусь в позабытых снах
И в горячих твоих слезах.

ДЕТСКОЕ

Я е детства сказку-истину искал,
К ней, будто к солнцу, напролом я лез.
Так близко был к ней, что совсем ослеп,
Упал на землю и крыло сломал.

А старый ветер утром мне сказал.
Тасуя волны в сумрачной реке,
Что истина была невдалеке —
В зерне, что с рук воробышек склевал

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Заговаривает Молдова,
Заговаривает мою боль,
Ополаскивают мои раны
Две великих ее реки.
Выговаривает Молдова
За былые мои грехи.
Я, как к матери, — ей в колени:
— Отругай, но потом прости.

Ты вспоила меня, вскормила,
Научила твердо ходить,
В твою почву я дерзко бросил
Зерна первых своих стихов.
От тебя уходил я дважды
За неясной своей судьбой
И вернулся к тебе седой,
Изболевшийся и усталый.

А судьба моя здесь росла.
В детский сад и в школу ходила.
Эскимо и кино любила
И с мальчишками смело дралась...

Первым сватом была весна,
А потом сват за сватом — ночи,
Заколдованные соловьями...

Так я взял у Молдовы дочь.
И уходят из снов моих
Постепенно, неотвратимо
Снегопады тяжелых обид,
Ледоходы моей печали,
Тает вечная мерзлота
Непрощенного злого слова...
Заговаривает Молдова
Мою боль.

У ДНЕСТРА

Уведу я тебя, уведу,
В голубые сады Приднестровья,
В сердце песни такие найду,
Что слагаются только любовью.

Уведу я тебя, уведу,
Самый щедрый и самый богатый.
Я вплету в твои косы, вплету
Жарко-красные ленты заката.

Я осыплю тебя у плетня
Изумрудов потоком зеленым.
Только глянь, сколько их у меня
На ветвях у задумчивых кленов.

Ну а ты подари только взгляд,
Северянка, в садах Приднестровья.
Твои звездные очи горят.
Как весенние ночи Молдовы.

Но ты сердцем в далеком краю,
А не здесь, не со мной, не со мною,
Потому что о солнце поют
Журавли над твоею тайгою.

Потому что цветам пламенеть

Очень скоро у тропок знакомых,
Потому что шумит в буреломах
Отощавший и злобный медведь.

...Мы к Днестру на рассвете пришли.
Днестр окутался дымкою серой.
Ты сказала:
«Послушай, на Север
Все летят журавли».

* * *

Не беда, что начинается
Осень первый листопад.
Созревает, созревает
По левадам виноград.

По широким склонам сонно,
Как в строю за рядом ряд,
Остывающее солнце
Допивает виноград.

Чтоб умчался добрый аист
В порт далекий и село,
Возвращая нам до капли
Золотистое тепло.

И не жаль, что начинается
Осень первый листопад...
Созревает, созревает
По левадам виноград.

* * *

Поди как странно: отпуска!
А от чего нас отпускают?
Иль только изредка пускают
Сюда, где поле и река,
Где даже эти облака
Какой-то властью обладают,
Мечтать о чем-то заставляют
И превращают в чудака.

Не вдруг соседка по избе,
Обычная, в косынке красной,
Колдуньей, неземно прекрасной
На миг покажется тебе.
И вот ты склонен ко грехам,
Казнишься тайною истомой
И только к первым петухам
Припомнишь строгий нрав месткома.

Мелькнут недели. И опять
Уйдешь в свой мир многоэтажный,
К делам пустячным или важным —
Их надо все-таки решать.

Вставать! Встречать! Бежать! Идти!
И в этой спешке напряженной
Вдруг встанешь, как замороженный,

На полпути.

А ночью, как ты ни криви,

И лес, и взгляд, луну, избушку,

Как письма первые любви,

Ты будешь прятать под подушку.

МЫСЛИ НА РЫБАЛКЕ

Теряю себя я, теряю —
Спокойнее сердце мое,
Как муха в липучку, влипаю
В пустое свое бытие.

Встреваю в пустячные споры,
Интриги с друзьями плету.
Средь сплетен и разговоров
Я ряской болотной цвету.

В нейлон и лавсаны прибрался,
По крохам коплю капитал.
С долгами в рублях — рассчитался,
А совести — задолжал!

И только глотнувши полынный,
Перцовый настой в камыше,
Задумаюсь, как пустынный,
О грешной своей душе.

И снова поверю — отныне
Все брошу, судьбину кляня!
И ветер дороги пустынной
Отмоет от грязи меня.

РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ

Какие грезы у дерев.
Какая грусть у дюн песчаных,
Откуда этот отблеск тайны
В глазах полночных дерзких дев!

Откуда эта чистота
У белых див — цариц Паланги,
У юношей скульптурно ладных,
У вознесенного моста?

Откуда эта прямота
У скользких скал под дланью неба,
Кто эту яростную нежность
Вдохнул в безжизненный кристалл?

Никак я не пойму, никак
Твоей холодности бессонной
В церквах, стихах, камнях и соснах.
Холодности, что будто солнце
Всегда укрыто в облаках.

От этой грустности едва ль
Под южным солнцем отогреться...
Навылет прострелила сердце
Твоя бездумная печаль.

ЯНВАРЬ

Опять январь до смерти насмешил.
Вначале закрутил не понарошку,
Потом наморщил сивый лоб гармошкой,
Задумался, вздыхая за окошком,
И все к чертям за сутки растопил.
Зачем дразнить цветастою игрушкой!
Май далеко, в черешневом краю...
Бессонно. Тихо. Окна солнце пьют.
Лишь грузовик, застрявший по макушку.
Ворчит про жизнь нескладную свою.

ЧУДАК О ЧУДЕ

Я жду, вот-вот

Оно

про-

и-

зой-

дет!

Я в напряженье весь

Который год!

Но только снег

Неискренний идет,

Как будто снег,

А глянешь — это лед.

Да и не лед,

А слезы талых вод.

А надо бы,

Чтоб все наоборот.

По улицам

Вразброд

Спешит народ.

Спешит,

Не зная,

Что он тоже ждет,

Когда ж, когда оно

Про-и-зой-дет!

Но только ветер за окном поет,

И чушь он несусветную плетет,
Насчет того, что надо
В тридцать пять
Хотя бы вещь единственную знать,
Что чуда чудаку
Не надо ждать,
А ноги в руки —
И идти искать.
Узреешь чудо
Среди алых стен,
Когда сотрутся ноги
До колен.

Вы слышали,
Какую чушь плетет?
Я жду,
Оно
Вот-вот
Произойдет!

ПЕЙЗАЖ С КОШКОЙ

Я болею, мне не к спеху.
Я глазею: вдалеке
Человечики по снегу,
Как пунктиры на листке.
Дом, как ящик. Одностенье.
Без лица — и в ширь, и в высь.
Современное творенье —
Архитекторская мысль.

Ветка чертит за окошком
На безликом лице мысль.
На моем балконе кошка
Гримируется под рысь.

Часом позже или раньше
Надоело это мне.
И окно теперь, как рама,
Как картина на стене.

ЩЕНОК

Щенок у меня объявился,
Плебейской породы щенок.
Лишь месяц, как родился,
А вижу, что будет толк.

Гнетет его бес познания —
И гонит из-под крыльца...
Он тянется к мирозданию
И к добрым людским сердцам.

Но пробыл на улице мало —
Приполз и затих в сенях.
И красная боль стояла
В блаженных его глазах.

Зализывает ушибы,
Дрожит и скулит у ног...
Не надо моих ошибок
Тебе повторять, щенок.

МЫСЛИ В ОТПУСКЕ

Нет, не умею все же отдыхать.

Проснусь к утру в истерзанной постели.

Все кажется, что завтра понедельник,

И надо о работе помышлять.

Да пропади ты пропадом, работа!

Бежать, бежать от будничной возни...

Бухгалтер-жизнь стучит себе на счетах,

Стучит,

Не то, что сердце, черт возьми!

Куда ж спешу, как к страшному суду,

От кипарисов и от ванн полезных...

Неужто так и навзничь упаду

В лошачьей ляжке

Да в узде железной!

ЛЮБИМОЙ

Да святится имя твое

Тихим шепотом русых полей.

Да святится имя твое

Грозным гулом черных морей.

Да святится имя твое

Первой вешнею бороздой.

Да святится имя твое

Зарождающейся строкой.

Да святится имя твое

Среди богов, среди людей.

Да святится имя твое

Всею грешной жизнью моей.

РАЗЛУКА

Замерзают, замерзают
Под окошком фонари,
Опадают, опадают
По утрам календари.

Скачут конниками вести
От весны и до весны.
По полям гоняет ветер
Недосмотренные сны.

Рядом тихо бродит лихо,
И не пишется совсем.
Под окном кружатся листья
Недописанных поэм.

Заповедною тропую
Сон ушел и не спешит...
Между мною и тобою
Расстояние лежит.

Расстояние такое,
Что вовеки не пройти.
Расстояние длиною
В слово трудное — прости.

Время замерло мгновенно

Той далекою весной.
Свое летоисчисленье
Я веду от встреч с тобой.

Потому-то замерзают
Под окошком фонари,
Потому-то опадают
По утрам календари.

ВЕСНА

Нет, не сладить весне со мной.

Мы-то с осенью

Не забыли,

Как отчаянной тишиной

Эти стены холодные стыли,

Как была ледовита она!

Как вернуться ее просили!

Не запомнили, не простили...

Пусть расписывается весна

Журавлями

В своем бессилье.

ВЕТЕР

Под ногами сверкают

осенние лужи, как лаки,

Изогнулись деревья со стоном,

как луки.

Ты на них посмотри,

ну как будто бы пахари пашут

Или что-то деревья ветвями

у ног своих пишут.

Отчего, отчего, ну, скажи,

отчего они стонут?

Оттого ли, быть может,

что холодно, и они стыннут,

Оттого ли, что скоро

под пули метельные станут

И ветра с них

рубашки зеленые стянут.

Немо небо несет

непонятные думы,

Облака, как пожаров

тревожные дымы.

И на крышах антенны,

как чьи-то иссохшие руки.

И текут пешеходы меж темных домов,

словно реки,

Почему ж я сегодня
 вокруг все по-новому вижу,
Будто ветром я стал,
 будто впрямь ничего я не вешу,
Будто это не я, а другой,
 посторонний, по лужам
Разлетелся, как будто
 по синему снегу на лыжах.

И страшны мне становятся
 чьи-то соседские страхи,
И чужды мне становятся
 чьи-то весенние строки,
Но зато мне близки
 этих окон безликие лики
И деревья, что гнутся
 по стылтому ветру, как луки.

Значит, осень пришла
 и навеки со мною осталась.
Значит, сердце устало,
 от первых морозов остыло,
Значит, может свалить
 меня, слабого, буря любая,
Если ты не придешь,
 не прикроешь весенней любовью.
Так спеши же ко мне
 из веемы сквозь любые преграды,
А иначе мой след

навсегда заметут снегопады.

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

Чем тебя одарить, кочевая княжна,
Горьких, диких просторов земная царица.
Вот горячий скакун, вот рулон полотна,
Вот тебе золотые вязальные спицы.

Почему ж ты молчишь, дочь звезды и костра,
Выбирай — горностаи и мех соболиный,
Все бери, бесприютного ветра сестра,
Все бери за один поцелуй твой полынный.

— Мне не надо богатств,—
Дочь степи отвечала.
— Я беру твою жизнь!
Разве этого мало!

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКОВ

Жены художников... Я узнаю вас,
Бродя по прохладным залам
Выставок и галерей.
Узнаю не около картин,
А на холстах
По характерной осанке,
По складке кожи на шее,
По мягкой линии рук.
Вы бессмертны.
И меня не обманывают надписи
Под холстами:
«Диана», «Пастушка», «Нимфа».
Никакая это не Диана и не пастушка —
Это ты — жена художника!
Полностью ты,
От родинки возле левого соска
До трогательного шрамика над коленом.

Знатоки,
(Чуть ли не сказал, как на выставке!)
Осматривая вас,
От кончиков ног до ресниц,
Говорят о гамме света.
Об игре красок.
И только время от времени
Какой-нибудь юноша,
Не искушенный в искусстве,

Тихо ахнет,
Ослепленный красотой вашего тела,
Не замечая гамм и игры красок.
Самые несчастные,
А может, самые счастливые на земле...
Больше натурщицы,
Чем жены.
Разве не разрывалось от обиды сердце
Когда на ваше волшебное тело
Он чаще смотрел как художник,
Чем муж!
Вы были больше матерями,
Чем женами,
Когда, измученный вином
И неудачами,
Он придет,
Положит голову вам на колени.
Ну совсем, как ребенок,
У которого сломалась игрушка.
А сломалась не игрушка,
Сломалась жизнь.
И вы гладите волосы
Вашего седеющего ребенка
И стонете от невозможности
Спрятать его от боли,
От мира всего
У себя на груди.
Наверное, по картинам
Можно проследить вашу жизнь:
Вот девочка

С беспомощными ключицами,
Угловатая, как жеребенок.
В ней женщина
Все еще дремлет,
Томится силой своей.
А затем эта женщина
Проснулась.
И линии глаже, томительней,
Настолько глаже, томительней,
Что кружится голова.
А вот и заката вестники —
Ласточки первых морщинок...
О, время, время,
Как подло
Расправилось ты с красотой!
И все же тебе не подвластна
Дерзкая кисть художника,
Который в веках сохраняет
Юность подруги своей!

Великие жены художников,
Вы вечные их соавторы.
Я вновь назову вас великими,
Потому что быть женой художника
Такое же великое искусство,
Как и писать холсты.
Искусство — это страдание,
А вы настрадались вдоволь.
Искусство — это счастье,
А вы познали его.

А то, что вы были больше матерями,
Чем женами,
Больше натурщицами,
Чем женами,
Няньками и сиделками —
Не важно!
Пусть вас утешает одно:
Что время от времени
Какой-нибудь юноша,
Не искушенный в искусстве,
Тихо ахнет.
Ослепленный вашей красотой.
Вы представляете,
Этот юноша будет приходить к вам
Тысячи лет.
И вы будете
Принадлежать ему.

В ПАРКЕ

Просто встал я сегодня усталый,
Просто парк безнадежно нагой,
Просто жалобно простонали
Листья черные под ногой.

Неспроста в груди моей слева
Непредвиденный ералаш.
Как все просто — ушла королева,
Опустел коммунальный шалаш.

Маловато короны, видно,
К ней еще б королевский паек!
И остался лишь запах обиды
В однокомнатном замке моем.

Кто молчанье его нарушит!
Не вдохнуть в эти стены жизнь...
А взбесившаяся кукушка
Что-то новое ворожит.

Просто встал я сегодня усталый,
Просто парк безнадежно нагой,
Просто жалобно простонали
Листья черные под ногой.

МОЙ САД

Прямо под окном
Моей осенней любви
Я посажу свой весенний сад.
Потому что ей рано в осень,
Ей, с капризными бровями
И с глазами,
всезнающими,
как календари.

Пусть горят, пусть падают мосты
Между ноябрем и декабрем,
Пусть в оврагах тихо умирает осень —
Я сжигаю за собой мосты!...
Я плыву в последнюю любовь.

В самом центре сада посажу
Свое сердце.
Что еще зимой
На земле холодной прорастет?
Пусть оно к рассвету запыхает
Небывалым солнечным цветком.
Каждый лепесток — отдельный цвет.
Если алый — значит, цвет любви...
Вот проходят призрачным парадом
Женщины, которых я любил,
Женщины, которых я оставил,
Иль они оставили меня.

Черный цвет. Он алому сродни -
Цвет разлуки, неминуемой боли,
Цвет вокзалов, аэропортов,
Цвет тоски в глазах моей любимой.
Потому — смотри на белый цвет...
Он — цвет весны,
Он, как любовь, безгрешен.
Он цвет романтики — моей богини,
Хоть модно над романтикой смеяться.
Пусть их! Смеются?

Что мне до убогих!

Цвета, цвета... Их много у цветка,
Как платьев в костюмерной у актера.
Наверное, такое потому,
Что сам актером был я понемногу.
Мной жизнь поставила
Не лучший свой спектакль
И зрители остались недовольны,
И режиссер.
Что делать — я упрям,
Играл не так, как нужно режиссеру.
Ну что ж, за это честно я платил
Больничной койкой или одиночеством
И скучной неприятной сединой.
Цвети, цветок, моя последняя любовь!
Тебя от стуж согрею я дыханьем.
Пусть девочка с капризными бровями,—
Я так хочу — пусть не поймет она,
Что вскормлен ты моей осенней болью,

Цветок весны в начале декабря.
Цвети лишь для нее, цвети, сгорая,
Цвети до моего последнего дыханья,
Все освети, цветок, моей любовью!
И даже ту дорогу, по которой
К ней тот,
 другой,
 из августа придет.

Я все равно сажаю сад весенний...
И пусть в оврагах умирает осень,
Пусть седеют скорбные заборы —
Я за собой сжигаю все мосты...

Иначе б это не было любовью.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЕРВЫЙ...

Главы из поэмы

ВСТУПЛЕНИЕ

Ко мне приходит сорок первый год
Таким, каким пришлось его увидеть...

Приходит нищим с рваною сумой,
Военным, забинтованным ремнями,
Мальчонкой слабеньким, сгоравшим на костре
Свирепой малярии.

Инвалидами

С гармошками и скрипками,
И с жалостными песнями навзрыд,
Великими, святыми матерями,

Пожарами!

Пожарами!

Пожарами! —

Извечными румянцами войны.

О битвах вам поведает другой,
А я о горьких беженских дорогах,
О том, что детский глаз запечатлел
И отпечатала навеки память.
О, если б только я сумел собрать
Все пули и осколки, что летели
В меня,

и выковать из них огромный плуг,

Чтобы вспахать к чертям все полигоны!..

А мне пять лет от роду было. Пять!

И с той поры уже не знал я детства.

Оставила отметины война,

Не обошла она меня стороной.

И раны те вовек не залечить,

И я уверен —

их лечить не надо,

Пускай болят, пускай приходят в сны,

Пускай воспоминанья кровоточат...

Ко мне

стучится

сорок первый год,

Стучится в двери, требует:

— Открой!

Стучится в двери —

открываю сердце.

Он входит...

I. ДОРОГИ

Да, было трудно привыкать к такому...

Хрипело небо бронхами моторов,

Надрывно и настойчиво хрипело

На землю, зло отхаркивая смерть.

Шли беженцы, еще во что-то веря.

До боли велики в своем упорстве.

И у дорог могилы вырастали,

Заплаканные холмики земли.

А мимо шли солдаты,
 уходили
И к нашим лицам глаз не поднимали.
Дышали тяжело и беспокойно
И сплевывали злобу свою в грязь.
А зареза в полнеба полыхали,
А тучи все вытряхивали громы...
Нас слухи догоняли, обгоняли
И страхом расползались по сердцам.
Да, было трудно привыкать к такому.
И страшно то, что многие привыкли,
Садилась у обочины дороги
И бормотали тупо: «Будь, что будет...»
Горела свечка в домике дощатом,
А может быть, не в домике —
 в сарае.
Еще сильней горела малярия
В мальчишеских испуганных глазах.
Мальчишкапил вонючую похлебку —
Смотрел на маму требующим взглядом.
Хотел он хлеба, маленький оборвыш,
Кусочек корки черной и сухой,
Которая ему упорно снится,
Такая темная, как небо на рассвете...
А рядом дядька, страшный и опухший,
Разинув рот, лил в глотку самогонку,
Сморкался громко в грязную рубаху
И плакал, не стесняясь никого.
«Эх... мать моя...
 Конец теперь России...»

А впереди и сзади розы, розы —
Кровавые

пожаров лепестки.

Мела поземка вялою метлою

И новые могилы засыпала,

Но люди шли, оборванные, злые,

И западу грозили кулаками.

А за спиной гулы затихали,

И нам навстречу шли красноармейцы,

Не с нами шли,

а шли уже

навстречу...

Ты вдумайся,

они навстречу шли!

А женщины толпились у обочин,

Вокруг смотрели светлыми глазами,

Но ничего они не говорили.

Им радоваться

не хватило сил.

Они смотрели светлыми глазами —

Смеяться им и плакать не хотелось.

В глазах одно

живое

билось слово:

— Домой!

II. БАЗАР!

Местечко оказалось знаменитым

Своим базаром.

Там лудильщик хриплый

Все с матючком

творил свое искусство...

Поклонники в отцовских картузах

С носами мокрыми,

озябшие, как птахи,

Дивились, замирая, волшебству.

Хромой цыган с медалью «За отвагу»

В одной лишь гимнастерке запотелой,

Сверкая остро быстрыми глазами,

Совал бабенке, разбитной и хитрой,

Неимоверно белый черствый хлеб.

— Отдай куфайку! —

И терзал ручонку

Прозрачной девочки,

закутавшейся в грязный,

Истрепанный до бахромы платок.

— У, кровососы! —

и плевался яро,

Давился злыми глыбами-словами,

А девочка все плакала привычно,

Уже не удивляясь ничему.

Два пьяных инвалида били третьего.

Откуда знать, чего не поделили?

Бил однорукий пьяного рукою,

А одноногий целился ногой.
Все уползти от них хотел безногий,
Войною прибинтованный к тележке,
Колесики-подшипники крутились,
Как у трамвая, что свалился с рельсов.
К ним подошел цыган с прозрачной девочкой,
Поднял безногого и крикнул:
— Кровососы! Что делаете! — И ушел в толпу.
И странно, — инвалиды успокоились,
Собрались в круг. Безногий взял гармошку,
А однорукий жалостно запел.
И в грязную ушанку однорукого,
Как листья желтые,
Посыпались рубли.

О ты, базар голодный сорок первого!
Как мухи вьются люди.

И кусаются,

И огрызаются, и плачут.

Пахнет горем,

Соленой человеческой бедой.

Как угри скользкие,

вокруг снуют карманники

И пьяницы с собачьими глазами.

И новое словечко —

«вакуация»,

Как семечки,—

у теток на губах.

Мордатый жлоб и женщина с ребенком

В сторонке за сараями торгуются.

— Буханку хлеба дай!
— А ты не в теле.
Я за буханку пухленьких найду.
Беда людская, горе всенародное!...
Почем вы, слезы вдовьи, на базаре?
Почем вы, грезы вдовьи, на базаре?
Полбулки хлеба —
 чтобы детям жить!
Не кинет память
 камень вам вдогонку.
У тех, кто шел дорогой сорок первого,
Под бомбами, без денег, без одежды...
— Сама пусть сдохну —
 дети будут жить!
Теперь я знаю,
 вот таких святыми
Издrevле называли на Руси.
Шумит базар
 и яростно торгуется.
Червонцы не в цене —
 обмен натурой.
О, мама, мама, не отдай за сало
Свой оренбургский пуховой платок!
Как кровь, алеют петушки на палочках —
Тридцатка пара, лопай — не хочу.
Вот молоко мороженое,
Оладьи из очисток.
Ржаные шаньги,
А над всем над этим
Неистребимый запах требухи.

— Почем олады?

— Пятьдесят за пару. Почти что даром —

Лопай — не хочу!

Но тут завыла,

Как противно выла

Сирена! Воздушная тревога.

Посыпались в подвалы спекулянты,

Вцепились в землю руки матерей.

Затявкали свирепые зенитки,

Зубами клацали бессильные винтовки,

А посреди на площади базарной

Безногий бесновался на камнях.

О, как он люто, страшно матерился,

О, как он в небо белое плевался,

О, как кричал!

Услышь немецкий летчик —

Не отвернул бы от земли штурвал.

— Ты погоди, за все ответишь нашим,

Фашистский гад!

Проклятая сукота!...

Хватал заплеванный, затоптанный булыжник

И в небо бушевавшее швырял.

Все разом стихло.

«Мессершмитт» умчался.

Закопошились разом спекулянты.

Из-под себя вытаскивали матери

Ничуть не испугавшихся детей.

Возобновились торги за сараями,

Прицеливаться начали карманники,

Но кто-то крикнул громко и встревоженно:

— Робята, глянь! Безногий-то убит...

Лежал он в центре,

В самом центре площади,

Еще точнее — посреди земли.

И крик предсмертный,

злостью раскаленный,

Навеки разодрал страдальцу рот.

Рука сжимала камень остробокий,

Глаза непримиримо впились в небо.

Вокруг молчали,

Тяжело дышали

И сумрачно сморкались в кулаки.

Пришел цыган с прозрачною девчонкой

И небо жестким глазом оцарапал,

И выдохнул угрюмо:

— Кровососы!

И сам закрыл безногую глаза.

...Его несли через базар к сараю,

Снимали шапки люди и крестились.

О, если б видел спившийся калека,

Как многолюдны проводы его!

Цыгана за руку поймала молодая

И грубо закричала со слезою:

— Бери куфайку, застудил девчонку!

И ловко спрятала в овчинном лабиринте

Неимоверно белый черствый хлеб.

Лудильщик хриплый застучал железом

И зыкнул на сопливых обожателей.

— Что делают, что делают, подлюги!! —

Спросил, не обращаясь ни к кому.

Ожил базар, как змей тысячеглавый.

Голодный, злобный, вечно ненасытный.

А одноногий подобрал гармошку

Безногого. И громко заиграл.

Играл и пел, не подставляя шапку,

Забыв о ней, пел жалостную песню.

И бабы плакали светло и вдохновенно,

Как плачут бабы только на Руси.

Он пел, как будто понял что-то главное,

Как будто видел то, что мы не видели.

И в этот миг поистине прекрасным

Казалось одноногого лицо.

Он пел и пел.

С базара расходились.

Он пел и пел.

А сумерки сгущались.

И на груди

Кленовый лист багряный

Сверкал

невозмутимо,

как медаль.

III. ЖЕНЩИНЫ КОСЯТ...

А на станции Жирной

(Какая насмешка судьбы!)

Исхудавшие женщины траву косили
Было так. По вагонам ходил человек.
По две шпалы на каждой петлице — начальник!
Речь примерно такую он в каждом вагоне держал:
— По тарелке лапши на косца,
Ребятенкам по паре яиц.
Вот и вся моя агитация...
И смотрел без улыбки,
Как женщины суетливо и нервно
Хватали не чемоданы и сумки —
Ложки и котелки.
И выходили строиться.

И женщины косили...
О, как косили командирские жены!
Как будто мстили этой желтой траве
За слезы и муки, за голод и холод,
За будущее свое вдовство.
Они били косами по этой траве так,
Будто не трава здесь росла, а беда,
У которой,
Как у сказочных Змеев-Горынычей,
Вместо одной головы вырастают две.
И они били по этим головам, били
Городские женщины, неумело,
И от этой, от их косьбы,
Наверное, ворочались в могилах
Двенадцать поколений косарей.
И все-таки они были прекрасны,
Жены командиров!

Прекрасны лютой женской красотой!
Наверное, не даром два военных
Как будто бы примерзли к косогору
И потемневших глаз не отводили
От этой вот невиданной косьбы.
И очень чисто и светло вздыхали,
И возбужденно, судорожно смеялись.
А женщины косили и косили!
Свою беду как будто бы косили!
Свою судьбу как будто бы косили.
Свою судьбину...

Жены командиров...

А может, вдовы!

Время-то идет!

Что, если в этот миг
На чьем-то счастье,
На щедром для любви и для работы,
Единственном на свете сердце
Свинцовую

война

поставит

точку!

А вечером у кухоньки походной
Они кричали так,
что повар толстый
Совсем оглох. Они брэнчали так
Закопченными насмерть котелками,
Что воронье спасалось в облаках.
Непримиримо повару совали

Кровавые мозоли с котелком:

— Давай скорей, там дети, понимаешь?

— Полней!

— Полней! Там дети, понимаешь?

И будто бы металлом раскаленным,
Вдруг брызнут во все стороны глаза.

И нет на этом свете силы,
Способной вдруг ее остановить.

Кричите и стыдите! — Все напрасно.

Хоть убивайте,

Раздирая губы,

Одно швырнет обугленное слово:

— Де-ее-тя-м!

И вы сдадитесь!

А она, уже забыв о вас,

О войне, мозолях,

Захлебываясь

Бессмысленной улыбкой,

Идет, прижав к груди,

Закопченный котелок,

И только еще нервно подергивается щека,

И только губы исступленно повторяют, как молитву:

— Де-е-тям! Детям!

IV. БОЛЕЗНЬ

Брат умирал.

Лежал в углу у печки

И улыбался.

Словно отделившись

От нас, от боли

твёрдою стеною.

Лежал, как маленький и высохший кузнечик.

И лапки-руки плавно шевелились,

И руки-крылья вздрагивали,

Будто

У них хватало сил, чтоб улететь.

Лежал он, просветленно улыбаясь,

И думал, что он празднует победу

Над белью и над голодом,

Над страхами

И горестями будущих дорог.

Над ним металась мать,

Как будто бабочка.

И билась в эту стену исступленно.

И тень ее по потолку металась

Стремительно и зло,

как «Мессершмитт.

...В избе нас было шестеро.

Татарин,

С глазами гнойными и красными, как раны.

Старуха, бормотавшая в углу.

Парнишка лет пятнадцати, который

К груди прижал огромный золоченый,

Невесть откуда взявшийся альбом:

Да музыкант седой с изящной скрипкой,

А рядом с ним молодка — руки в боки.
Набрякла сытостью над парюю корзин.
Молодка, между прочим, богатырская,
В плечах — косая сажень.
Да по пуду, наверное, потянут кулаки.

Шесть человек.
Шесть островков из тысяч
В безбрежном море — зареве войны.

А мать о всем забыла.
И о всех.
Вся жизнь ее сейчас —
 как через ночь,
Брела на этот крохотный огонь,
Что все еще горел в глазах ребенка.
Погаснет огонек —
 и мать угаснет,
Через мгновение, покрывшись пеплом
Холодной седины.
А брат
Открыл глаза и вдруг сказал
Отчетливо и ясно: «Мо-ло-ка».

Мать вскрикнула и встала!
Обвела
 всех взглядом
И пошла к молодке,
Крутя бессильно шар земной ногами.

Ждала молодка, будто бы глухая.
Два глаза, как две капли воска стыли
И становились тверже.

Мать сняла

С пальто лису:

— Вот все, что я могу.

Две капли воска стали камнями.

— Не надоть!..

И по губам порхнула шелуха.

Тогда парнишка выкрикнул:

— Зараза! Бери альбом

И отдавай бидон!

В глазах два камня стали меденеть.

Тогда старик поднялся с красной скрипкой,

Как снег, осыпав с плеч на землю перхоть,

Сказал, краснея:

— Скрипку вот возьмите.

Я за нее отдал шестьсот рублей.

Медь прозвенела: «Знамо, малохольный.

Да мне б шестьсот рублей!... Да я б... Уйди!...

Мать плакала. К ней подошла старушка,

Мучительно за пазухой копясь.

И вытащила, бормоча невнятно,

Издъеденный годами образок.

— Отдай ей, милая. За бога христианка

Не пожалеет кринку молока.

В глазах две капли стали, как две пули.

А брат лежал, иссушенный кузнечик.

И лапки-руки слабо шевелились.

Как шелест трав, был тихим его голос,

Упрямо повторявший: «Молока!»

Что вдруг привиделось ему в бреду горячем?

Быть может, луг, окрест звенящий косами,

Быть может, стадо, медленно и чинно

Несущее зарницы на рогах.

— Ай-яй-я-яй! — Вдруг закричал татарин

И прыгнул, будто кошка, к молодойке. —

— Ты человек! —

И глянул страшным взглядом

И выхватил из-под лохмотьев нож.

— Ты почэ-эму ребенка убиваешь?

И так смотрел,

и так смотрел он страшно.

Что холодом повеяло вокруг.

Ее глаза растаяли, как воск.

Не камни, нет! Две маленькие мышки,

Визжащие от страха, были в них.

— На вот, бери. Я что ж... ничто ж...

Чего вы все!... Я, што ль, не понимаю?...

О, люди, люди, кто вас разберет!

Все было в жизни — подлость и обман.

Предательство друзей и клевета.
Но в черный час, когда невмоготу,
Я говорил себе: ведь это было:
Дороги! Голод! Сорок первый год!
Ноябрь! Изба! В ней шестеро людей!
И брат в углу у печки умирает...

Да, брат. Ты дважды все-таки рожден.
И вот за тех, за шестерых, я убежден,
Ты жить обязан

дважды

человеком!

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЕ	4
Мать тридцать лет уже пытается	5
У ОБЕЛИСКА	7
ОТЕЦ	8
МАМИНО ТАНГО	11
В этом крымском ущелье,	12
ЕСЛИ...	13
БЕЛЫЙ ВЕТЕР	14
НАЕДИНЕ С ТУНДРОЙ	16
БАЛЛАДА О ДЛИННОМ РУБЛЕ	19
ПО ДОРОГЕ В ПЕВЕК	21
Сиреники, Урелики, Певек,	22
НАБРОСКИ В АЭРОПОРТУ «КРЕСТЫ»	23
БУХТА СОМНИТЕЛЬНАЯ	25
Когда я замерзал в айонской тундре	27
РУКИ МАТЕРИ	28
С каждым днем тяжелей идти,	30
ДЕТСКОЕ	31
ВОЗВРАЩЕНИЕ	32
У ДНЕСТРА	34
Не беда, что начинает	36
Поди как странно: отпуска!	37
МЫСЛИ НА РЫБАЛКЕ	39
<i>РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ</i>	40
ЯНВАРЬ	41

ЧУДАК О ЧУДЕ	42
ПЕЙЗАЖ С КОШКОЙ	44
ЩЕНОК	45
МЫСЛИ В ОТПУСКЕ	46
ЛЮБИМОЙ	47
РАЗЛУКА	48
ВЕСНА	50
ВЕТЕР	51
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ	54
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКОВ	55
В ПАРКЕ	59
МОЙ САД	60
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЕРВЫЙ...	63

Малашенко Аркадий Николаевич

Поле перейти.

Редактор М. Арсеньева. Художник В. Бульба. Художественный редактор Н. Тарасенко. Технический редактор Д. Шехтер. Корректоры Т. Могутенко, Ю. Цуркан

Сдано в набор 12/V-1974 г. Подписано к печати
2/V| 1-1974 г. АБ07626. Формат 60X90 г/32. Бумага № 1 Печатных
листов 2,63 Уч изд. листов 2,36
Тираж 3000 Цена 25 коп. Зак. № 522

Издательство «Картя Молдовеняскэ»

Кишинев, ул. Жуковского, 44.

Кишиневская типография № 2 Полиграфпрома Госкомиздата МССР, г.

Кишинев, ул. Советская, 8.